

О. М. МАЛЕВИЧ

Т. Г. МАСАРИК И Ф. К. ШАЛЬДА О ДОСТОЕВСКОМ

Франтишек Каутман, наиболее авторитетный современный исследователь темы «Достоевский и чешская литература», начинает свою книгу «Сражения за Достоевского»¹ с полемики против ложного представления, согласно которому интерес к русской литературе в Чехии вплоть до 90-х гг. XIX в. был настолько слаб, что знакомство с нею осуществлялось главным образом опосредованно — через французские и немецкие источники. Это якобы проявилось и применительно к творчеству Достоевского. Опровергая такую точку зрения, Каутман приводит сообщение в журнале «Ческа вчела» за 1847 г. о выходе «Бедных людей», которых критика сравнивает с «Вертером» и произведениями Гоголя, и цитирует отрывок из письма В. Ч. Бендла Вацлаву Ганке от 5 октября 1852 г., где этот видный литератор, друг самой выдающейся чешской писательницы Божены Немцовой сообщает о том, что прочел «прекрасный роман» Достоевского «Бедные люди». В 1861 г. в журнале «Obrazy ze života» было опубликовано письмо из Москвы, в котором, в частности, говорилось: «...Ф. Достоевский, автор „Бедных людей“, романа в письмах, будет издавать „Время“, журнал политический и литературный, и заявляет, что будет стремиться к беспристрастной критике поверхностных книг. Этот писатель непрестанно выступал против господ и вельмож из-за бедственного положения низших чиновников в материальном и моральном отношении. За свою чрезмерную страстность он был в силу какого-то подозрения сослан в арестантские роты (то же, что у французов — галеры) в Оренбургскую губернию, откуда был освобожден манифестом нынешнего царя».² В 1862 г. вышел чешский перевод рассказа «Ползунков» — один из первых переводов произведений Достоевского в Европе. Он был извлечен из «Иллюстрированного альманаха» И. Панаева и Некрасова, который был задержан властями, в массовую продажу не поступил и даже в России стал библиографической редкостью. Самому Достоевскому

¹ *Kautman F. Boje o Dostojevského. Praha, 1966.*

² *Obrazy ze života. 1861. № 1. S. 4. Цит. по: Kautman F. Boje o Dostojevského. S. 10.*

об интересе к его творчеству в Праге, в частности в редакции газеты «Народни листы», писал А. Н. Майков: «Поехали бы вы в Прагу. Об вас тут спрашивали многие славяне». ³ Существуют указания на то, что во время пребывания четы Достоевских в Праге 1—3 (13—15) сентября 1869 г. русский писатель будто бы встречался с некоторыми видными чешскими деятелями. ⁴

В 1878 г. в чешском журнале «Светозор» по рекомендации А. Н. Пыпина и Й. Первольфа была опубликована краткая биография Достоевского, написанная Эдуардом Валечкой, которому писатель годом ранее прислал свою фотографию и книги «Преступление и наказание», «Записки из Мертвого дома», «Бесы». ⁵ В год смерти Достоевского обширный очерк о нем поместил в трех номерах журнала «Освета» Йозеф Микш. ⁶ Первый книжный перевод («Неточка Незванова») вышел в Чехии в 1882 г.

Большой интерес к творчеству Достоевского проявили самые выдающиеся чешские прозаики 60—80-х гг. XIX в. — Ян Неруда, автор литературного портрета «Федор Михайлович Достоевский» («Народни листы», 1889), ⁷ и Каролина Светлая. В 1883 г., после прочтения сокращенного чешского перевода «Преступления и наказания» в газете «Народни листы», К. Светлая так отозвалась о русском писателе: «Какой это великан, какой Христос! Хотя его роман все каникулы бросал глубочайшие тени на мою душу, все же я со слезами целовала эти тени, и, если газета не приходила, я считала день потерянным. Какое солнце правды, любви скрывалось за этими тенями! Я ненавидела себя за то, что когда-то также осмеливалась братья за перо...». ⁸

Огромное воздействие Достоевский оказал на литературное поколение 90-х гг. XIX в. (Вилем Мрштик, Йозеф Сватоплук Махар, Виктор Дык). Это нашло отражение и в широко известной в Чехии

³ Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1925. С. 22.

⁴ См.: *Jirásek J.* Češi, Slováci a Rusko. Praha, 1933. S. 15, 352; *Kautman F.* Boje o Dostojevského. S. 10—11; *Vergun D.* Dostojevskij v Praze // *Národní listy*. 1930.15.06; *Máchal J.* Dostojevskij a slovanská idea // *Dostojevskij: Sborník statí k padesátému výročí jeho smrti*. 1881—1931. Praha, 1931. S. 7—24; *Махар Я.* Достоевский в Праге // *Центральная Европа*. 1931. № 2. С. 82—87.

⁵ См. письмо Э. Г. Валечки к О. А. Новиковой от 11(23) марта 1877 г. (РО РНБ, ф. 14, ед. хр. 567).

⁶ *Mikš J. F. M.* Dostojevský // *Osvěta*. Rok XI. 1881. Díl 2. S. 575, 861, 1101; *Fedora Michajloviče Dostojevského vybrané spisy / J. Překládá. Mikš. Seš. 1: Životopis F. M. Dostojevského*. 1884.

⁷ См.: *Малевич О. М.* Ян Неруда и Ф. М. Достоевский: (К постановке вопроса о воздействии творчества Достоевского на чешскую литературу XIX в.) // Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. М., 1968. С. 300—322, 449—453.

⁸ *Švětlá K.* Z literárního soukromí. II. Korespondence. Praha, 1959. S. 511.

живописной картине Эмиля Филлы «Читатель Достоевского» (1909). Позднее в Чехии вышло несколько книг о русском классике.⁹

И тем не менее самый значительный вклад в чешскую оценку творчества и личности Достоевского внесли два профессора Пражского университета — Томаш Гарриг Масарик (1850—1937), будущий первый президент Чехословацкой Республики, и Франтишек Ксавер Шальда (1867—1937), влиятельнейший критик рубежа XIX и XX вв., значение которого для чешской литературы, несмотря на различие эпох, сопоставимо со значением В. Г. Белинского — для русской.¹⁰

«Уже в Вене я зачитывался русской литературой, позже в Праге она захватила меня целиком. Смею признаться, что тогда мало кто знал русскую литературу так, как я», — говорил Масарик Карелу Чапеку.¹¹ Об отношении Масарика к русской литературе писали многие авторы.¹² Но Достоевский играл тут роль совершенно исключительную, ключевую.

Достоевский, — вспоминал Масарик, — «заинтересовал меня по личным мотивам; еще не зная его, я во многом шел с ним одним путем, меня мучила та же основная проблема. (Сравни мое сочинение «*Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Zivilization*», 1881). Но этот мой интерес к Достоевскому имеет и основания по существу.

Никто другой из русских не анализировал так, как он, интимные душевные стороны своего народа, никто другой не пытался так, как Достоевский, понять исторические и социальные факты как проявление русской души и психологически объяснить основные движущие силы русской государственной и национальной жизни.

Достоевский — крупнейший русский социальный философ, по его произведениям мы лучше всего можем понять Россию».¹³

Первым произведением Достоевского, которое привлекло внимание Масарика, был роман «Преступление и наказание». Университетские лекции Масарика содержали множество ссылок на Достоевского. Одна из предложенных им семинарских тем носила название «Преступление в современной литературе». «Психологию преступления» Масарик анализировал на примере Раскольникова и

⁹ Štěpánek V. V. G. Bělinskij a F. M. Dostojevskij. Praha, 1911; Bartoš J. Běšové — Životní drama Dostojevského. Praha, 1914; Dostojevskij: Sborník statí k 50. výročí jeho smrti. Praha, 1931.

¹⁰ См.: Malevič O. «Literární snění» F. X. Šaldy a V. G. Bělinského // Česká literatura. 1986. № 4. S. 307—323.

¹¹ Чапек К. Беседы с Т. Г. Масариком. М., 2000. С. 77.

¹² См.: Егоров Б. Ф., Малевич О. М. Масарик и русская литература // Масарик Т. Г. Россия и Европа: Эссе о духовных течениях в России. Кн. 3, ч. 2—3. СПб., 2003. С. 470—514.

¹³ Там же. С. 5.

романа Золя «Человек-зверь». Упоминания о Достоевском мы находим и в статьях Масарика 1887—1888 гг., когда он совершил две первые свои поездки в Россию. «В наше время средоточие философских размышлений следует искать у таких писателей, как Толстой и Достоевский», — писал он в одной из рецензий.¹⁴

Из России Масарик привез шеститомное собрание сочинений Достоевского, на которое нередко ссылался в статьях того времени.¹⁵ Представление о творчестве Достоевского у него уже не ограничивается «Преступлением и наказанием». В статье «Русская библиотека» (1890) он пишет: «Мы надеемся, что читающая публика не удовлетворится только романами Толстого, но, ознакомившись с романами, заинтересуетя и его произведениями педагогическими и религиозно-философскими. Тогда была бы надежда, что после Толстого к нам попадет и Достоевский. Возможно, наша публика сначала будет ошарашена его романами вроде „Идиота“, „Бесов“, как была ошарашена „Преступлением и наказанием“, которое выходило несколько лет назад в „Народных листах“. Побудив г. Пенижека (Йозеф Пенижек был студентом Масарика. — *О. М.*) к работе над переводом этого произведения Достоевского, я надеялся, что чешская публика обратится и к другим сочинениям этого великого знатока человеческой души <...> Немцы, насколько я знаю, „Преступление и наказание“ читают уже во 2-м издании, у них переведены уже не только „Записки из Мертвого дома“, но и „Подросток“, „Братья Карамазовы“ и т. д. Почему мы, чехи, не можем проникнуться русским реалистическим духом хотя бы в той мере, как наши соседи?»¹⁶

Эрнсту Бёку 17 мая 1890 г. он советует: «Дорогой друг, уже не раз я хотел обратить Ваше внимание на Достоевского: читайте Раскольников, „Идиота“, „Братьев Карамазовых“. Приглядитесь к его психолог(ическим)—(психиатрическим) способностям. Естественно, в противопоставлении с солнечным миром Толстого».¹⁷ В том же году в журнале «Час» Масарик писал о том, что хороший перевод произведений Достоевского означал бы для чешской литературы больше, чем десятки посредственных оригинальных произведений.¹⁸

¹⁴ М. [Masaryk T. G.]. Философский трехмесячник: Специальный журнал по философским наукам, издаваемый А. А. Козловым. 1885, 1886. № 1, 2 // Atheneum. 1887. Č. 4. S. 133 (Masaryk T. G. Z bojů o Rukopisy. 1886—1888 / Spisy T. G. Masaryka. Praha, 2004. Sv. 19. S. 309).

¹⁵ Речь идет об издании: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: [В 6 т.]. СПб., 1885—1886.

¹⁶ Masaryk T. G. Ruska knihovna... // Čas. 1890. № 4. S. 219.

¹⁷ Цит. по: Polák S. T. G. Masaryk: Za idealem a pravdou 2. Praha, 2001. S. 372—373.

¹⁸ Čas. 1890. № 4. S. 217.

Только после многолетнего пристального изучения творческого наследия великого русского писателя, о чем свидетельствуют многочисленные пометы на полях шеститомного русского собрания его сочинений и составленные Масариком своего рода «предметные указатели» в конце каждого тома, чешский мыслитель — и то лишь по настоянию друзей — решился выступить с развернутым суждением о Достоевском. Формально это была рецензия на первый том чешского собрания сочинений Достоевского.¹⁹

Глубокий анализ этой статьи Масарика и его заметок уже в год первого их книжного издания дал А. Л. Бем.²⁰ Как проявление смелости и «несомненной художественной зоркости» он отметил прежде всего высокую оценку Масариком «Братьев Карамазовых» и «Идиота», в то время как на Западе было принято ставить на первое место «Преступление и наказание». По мнению Бема, «Масарик первый схватывает творчество Достоевского в целом, с одинаковой силой выделяя философско-религиозное значение его творчества и его „этический реализм“, который он противопоставляет натуралистическому реализму французской литературы».²¹ Так же, как и публикатор статьи и заметок Масарика Иржи Горак, Бем считал, что чешскому профессору в 1892 г. удалось «опередить и русскую, и западноевропейскую критику». «Хотя мировое значение Достоевского было к этому времени уже вне сомнения, но русской критике недоставало того необходимого „расстояния“, которое дает право на такую оценку. Слишком много было еще в творчестве Достоевского современного, слишком резко еще сказывались разногласия в оценке его общего мировоззрения, чтобы подняться над ними. Западноευропейской критике, с другой стороны, недоставало достаточного знания русских условий, отсутствовал тот „опыт“, который нужен был, чтобы постичь во всей глубине остроту проблематики Достоевского. Масарик же был поставлен в исключительно благоприятные условия для понимания Достоевского. Острая направленность внимания к религиозным вопросам, вера и безверие как полюсы современного общественного самосознания и невозможность их примирения, этический критерий в подходе к общественному устройству, психологизм в оценке человеческих побуждений — все это и многое другое делало для Масарика творчество Достоевского близким и родственным. Конечно, это была общность исходных

¹⁹ *Masaryk T. G. Spisy Fedora Michajloviče Dostojevského // Čas. 1892. Č. 2. S. 18—24. См.: Masaryk T. G. Studie o F. M. Dostojevském (s rukopisnými poznámkami) / Uspořádal J. Horák. Praha, 1932. S. 13—30. Это была рецензия на первый том издания: Spisy F. M. Dostojevského. Praha, 1891—1922. Sv. 1—18. В этот том вошел перевод «Записок из Мертвого дома».*

²⁰ *Бем А. Л. Масарик — критик Достоевского // Центральная Европа. 1932. № 8—9. С. 424—431.*

²¹ Там же. С. 429.

путей, которая не могла помешать дальнейшему расхождению. Но именно эта общность дает первой статье Масарика такой необычный эмоциональный тон, придает особую напряженность взволнованного сочувствия и как бы открытия не только для других, но и для себя».²²

Анализируя не только статью, но и заметки Масарика на полях русского собрания сочинений Достоевского, Бем отмечал интерес чешского мыслителя к глубине психологического анализа и оценки, предвосхитившие позднее «достоевсковедение». Так, Масарик едва ли не первый заметил сходство князя Мышкина с образом Христа, включая параллели: Христос—Магдалина, Мышкин—Настасья Филипповна. Анализом взглядов Масарика на Достоевского Бем занимался и в статье «Осуждение Фауста» (Этюд к теме «Масарик и русская литература» с приложением перевода статьи Масарика «Мое отношение к Гете»)²³

Последующее «расхождение» Масарика с Достоевским, наметившееся в конце 90-х—начале 900-х гг., наиболее выпукло проявилось в трехтомном труде чешского мыслителя «Россия и Европа».²⁴ С позиций демократа, социал-реформиста, религиозного реформатора Масарик полностью отвергал взгляд Достоевского «на мир и на жизнь». На протяжении всей второй части третьей книги «России и Европы», которая имеет название «Борьба за Бога. Достоевский — философ истории русского вопроса», Масарик пункт за пунктом опровергал «формулу» Достоевского, его тезис: европеизация, западничество, отрицание самодержавия, православия, народности ведут к атеизму и материализму, к либерализму, нигилизму, анархизму, социализму, иезуитству, к убийству и самоубийству; антитезис: не человекобог, а богочеловек, теизм, вера в бессмертие души, «русская идея». Если Россия находится на пути из прошлого Европы в ее настоящее и будущее, из Средневековья в Новое время, то эволюция Достоевского, по Масарику, — это, напротив, путь от Белинского к Уварову. В корне меняется и позиция Масарика в оценке спора Толстого и Достоевского об отношении к русско-турецкой войне. Отвергая толстовскую проповедь непротив-

²² Там же. С. 429—430.

²³ Научные труды Русского народного университета в Праге. Прага, 1933. Т. 5. С. 110—127. Подробнее об этом см.: *Malevič O. M. Dostojevskij, Masaryk, Bém, Kundera, Brodskij // Svět literatury*. R. 15. 2005. № 32. S. 94—103.

²⁴ Первые его два тома вышли на немецком языке в Йене, третий том — в 1995 г. в Вене; чешское издание всех трех томов вышло в Праге в 1996 г.; русское издание осуществлено издательством Русского Христианского гуманитарного института в Петербурге в 2000—2004 гг. См. также: *Малевиц О. М. Т. Масарик и литература: Достоевский, Бем, Кундера, Бродский // Т. Г. Масарик и «Русская акция» чехословацкого правительства: К 150-летию со дня рождения Т. Г. Масарика: По материалам Междунар. науч. конф. М., 2005. С. 32—41.*

ления злу насилием, он отвергает и апологию войны, лозунг «Константинополь должен быть наш!». А в конце жизни не утративший веры в «личного» Бога Масарик не раз высказывал убеждение, что Достоевский веру в Бога потерял и тщетно ее пытался восстановить в себе и других.²⁵

Изменение своего отношения к Достоевскому сам Масарик объяснял так: «Сначала я им не критически восхищался. Потом я пошел вперед в своем развитии и увидел ошибки, взгляды, с которыми не мог согласиться. Я начал критиковать. Люди не видят, что человек критикует самого себя».²⁶ Впрочем, Масарик по-прежнему считал Достоевского великим художником.

Отношение Ф. К. Шальды к Достоевскому началось с весьма острой критики, в которой он поначалу явно шел по стопам Э. Эннекена. Его книгу «Писатели, признанные во Франции» в 1896 г. он перевел на чешский язык (в нее входило и эссе о Достоевском, опубликованное впервые в «*Revue contemporaine*» 25 сентября 1885 г.). 8 февраля 1890 г. Шальда писал Ружене Свободовой, чешской писательнице, тогда еще просто коллеге, а в будущем подруге и возлюбленной: «Вы пишете, что не принимаете у Эннекена критику Достоевского. Я думаю, что она справедлива. Я не могу себе представить человечество с моралью Евангелия или Достоевского. Оно потерпело бы крах через несколько лет <...> Нравственное очищение, как его представляет себе Достоевский, представляется мне басней. Я не верю в грех, в свободу воли, не верю и в очищение <...> Я сочувствую только борцам, а отнюдь не большим и слабым. Целые госпитали, заполненные выродившейся массой, инвалидами à la Раскольников и Соня меня не растрогают <...> Это сочувствие к массам кажется мне хотя и пикантным, но слишком смутным (и психологически) — и к тому же несправедливым, т. е. незаслуженным, необоснованным (ведь эти массы нам не близки, мы их не знаем, не представляем их конкретно) — а потому дилетантским и кокетливым».²⁷

²⁵ Об эволюции взглядов Масарика в связи с его оценкой Достоевского см.: Т. Г. Масарик и Россия: Тез. докл. Междунар. конф. СПб., 1997; *Каутман Ф.* Борьба Масарика с Достоевским // *Русская литература*. 2001. № 1. С. 222—230; *Петрусек М.* [Вступительная статья] // Т. Г. Масарик: Философия—социология—политика. М., 2003. С. 8—34; *Егоров Б. Ф., Малевич О. М.* Масарик и русская литература. С. 470—514; *Абрамов М. А., Лаврик Э. Г., Малевич О. М.* Томаш Гарриг Масарик: Жизнь, дело, учение // Масарик Т. Г. Россия и Европа. СПб., 2004. Т. 2. С. 588—655; TGM, Rusko a Evropa. Dilo—vize—přítomnost. Praha, 2002.

²⁶ *Horáková-Gašparíková A.* Z lanského deníka. Praha, 1997. S. 175—176.

²⁷ Цит. по: *Kautman F. F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij* // *Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd.* Seš. 13. Praha, 1968. R. 78. S. 8.

Чешская исследовательница Ярмила Моуркова, впервые опубликовавшая в извлечениях письма Шальды к Свободовой, связывала недостаточное понимание им специфики творчества Достоевского с карлейловским культом героев.²⁸ Однако творчество Достоевского не «отпускало» от себя Шальду. В феврале 1893 г. он посылает Р. Свободовой письмо, в котором именно на примере подхода к «Преступлению и наказанию» формулирует свои принципы литературного анализа. Письмо это свидетельствует о том, что Шальда задумывал большую работу о Достоевском с позиций «позитивной критики», поскольку его уже не удовлетворяли ни взгляды Эннекена («это отрицание, а не истолкование»), ни суждения соотечественников Достоевского: «Русские критики в свою очередь еще в большей мере мистики, чем автор: они пишут плохие поэмы вместо посредственных критических статей».²⁹

В письме Р. Свободовой от 30 декабря 1893 г. Шальда делился своими впечатлениями от рассказа Достоевского «Хозяйка»: «...я мучился, страшно мучился от какого-то чувства художественной и чисто человеческой (совестью) неудовлетворенности. И скажу Вам, что мне мешает: этот вампировский аппарат всей вещи. Психологического здесь мало. Собственно, лишь вот что: внушение, подчинение слабого сердца сильным, сильной волей, сильным мозгом. Катерина загипнотизирована Муриным. Он властвует над ней, как гипнотизер. Искусственно и расчетливо. (Вся вещь, очевидно, основана на месмеризме, который был тогда в моде.) Она хочет вырваться, перенести свою любовь на Ордынова. Но не может вырваться из-под власти Мурина, из-под власти его гипнотизерских глаз, из-за которых его не убивает, не способен убить и Ордынов. Мне страшно мешает неопределенность, размытость перспективы. Четко не обозначено, где начинается *сон* и где кончается *факт*, — этой границей автор пренебрегает. Субъект и объект — факт и иллюзия — внутреннее и внешнее перепутано, смешано. Это подсознательный рубеж душевной галлюцинации — все больны, это сумерки души — тени принимают вид реальности. Я не знаю, является ли прошлое Катерины, как она рисует его Ордынову, субъективно окрашенной реальностью или чистой фантазией, мошеннически навязанной ей (возможно, даже с помощью обмана). Нечто подобное ощущает в конце Ордынов, но ничего позитивного автор высказать не решился. У вещи нет перспективы (мне кажется, что сам Достоевский ее дважды или трижды во время работы изменял) — и мне это мешает (не мешало бы, если бы была хоть какая-нибудь,

²⁸ Mourková J. Od Syntetismu k Bojům o zítřek (Z dopisů F. X. Šaldy Růženě Svobodové) // Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví. Praha, 1969. № 3—4. S. 20.

²⁹ Ibid. S. 19.

пусть фальшивая, я нуждаюсь в хоть *какой-то*). В Мурине, по-моему, Достоевский рисует сильную индивидуальность, преступника-гения (которого не сломит даже преступление), человека-индивидуума, противостоящего обществу, всему нормальному в природе и этике, исключение, демона, сатану-рефрактера средневековой мистики. Нечто, в зародыше содержащееся у балзаковского Вотрена. И у Сю есть такие типы, и вообще во всем тогдашнем романтизме, в этом есть нечто социологически обоснованное: в ту эпоху действительно вымирали последние остатки человека-индивидуума, человека-преступника, преступника как силы стихийной и гениально сознательной и целенаправленной — после этого преступник уже только болезненный, выродившийся человек. А Достоевский, как известно, любил Сю, Гюго и весь франц<узский> романтизм.

В целом много патологии и мало психологии. Только любовь Катерины к Ордынову — такая мучительная в ее грезах и как бы увлекающая в туман, как бы уносимая весенними дождями — чисто художественна и высоко психологична. И потом страницы, которые Вы подчеркнули: настроения, подсказанные восприятием и идейным осмыслением большой, экзальтированной и растерзанной души». ³⁰

Интересно, что в своем первом развернутом печатном отклике на произведения Достоевского (отдельные упоминания о нем рассыпаны по многим статьям начала и середины 90-х гг.) — рецензии 1897 г. на шестой том его чешского собрания сочинений («Двойник», «Неточка Незванова», «Маленький герой») Шальда снова пишет, анализируя «Двойника», об отсутствии у русского писателя четкой границы между реальным и ирреальным, но уже видит в этом его оригинальность и достоинство. Отмечая, что хотя с момента выхода перечисленных выше произведений прошло полвека, они не утратили своей жизненности и актуальности, Шальда объясняет это «нервным внушением», тем, что великий писатель создавал их «с обнаженными нервами». И вот итоговая характеристика: «Поэт боли и мук, поэт исключительно нервный, обнаженно человеческий, элементарный, кровавый, стихийный, упорно, безжалостно и проникновенно погруженный в самые глубокие слои и основы нервов и чувств человека, мистик, не рефлектирующий, а проявляющий себя всеми биологическими и психологическими стихиями своего гения, всеми его составными частями и элементами — таким совершенно явно выступает в главном плане, в главных линиях своей структуры Достоевский уже в этих первых и ранних своих повестях». ³¹

Более тридцати лет отделяют эту раннюю рецензию чешского критика от его итогового высказывания о Достоевском — статьи

³⁰ Цит. по: Kautman F. F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij. S. 8—9.

³¹ Šalda F. X. Fedor Michajlovič Dostojevský: Dvojník — Nétička Nezvánvá — Malinký hrdina // Soubor díla F. X. Šaldy. 13. Kritické projevy 3. 1896—1897. S. 405.

«Творчество Ф. М. Достоевского и его положение в Европе», опубликованной в 1931 г. в журнале «Шальдуд записник» («Записная книжка Шальды»), который он — так же как Достоевский «Дневник писателя» — не только сам издавал, но и сам создавал от первой до последней строки. За эти годы Шальда десятки раз упоминал Достоевского по самым различным конкретным поводам, не однажды отмечал близость Достоевского чешским писателям или его воздействие на них и сам под его явным влиянием написал роман «Марионетки и труженики Божьи» (1917). В статье «Поэт и народная душа» (1911), посвященной «Дневнику писателя» за 1877 г., в которой Шальда в споре между Львом Толстым и Достоевским об отношении к русско-турецкой войне и балканским славянам стоит целиком на стороне последнего, мы читаем: «Я не могу оторваться от чтения этого дневника. Рядом с ним поэзия кажется мне бледной, беллетристика холодной и поверхностной, эссеистика абстрактной, скучной и вялой. У меня при этом такое впечатление, как будто извечная безграничная любовь с трепетной озабоченностью и лаской низко наклоняется над темным и загадочным сердцем народа и пытается услышать в его биении правду более высокую, чем все остальные жизненные реальности. Я думаю, что никогда не было автора, который бы столько и так любил, как Достоевский, и сказал о любви столько самого существенного, о любой и всякой любви: от любви влюбленного до любви к ближнему, любви к родине и Богу. <...> Да, если когда-нибудь жил художник любви, это был он».³²

Если это высказывание можно воспринять как антитезис первой рецензии Шальды, посвященной Достоевскому, то его последняя статья о нем стала синтезом взглядов чешского критика на творчество великого русского писателя. Как синтез он воспринимал и творчество самого Достоевского, вплотную подходя к мысли о полифоничности его творческого метода: «Достоевский — высочайший мастер формы из всех, когда-либо живших на земле, но, разумеется, форма эта совершенно новая <...> я бы охотнее всего назвал ее *полифонической*. Все фигуры Достоевского связаны многообразными нитями, которые, переплетаясь, как в работающем ткацком станке, образуют густейшую жизненную ткань». Эту полифоническую взаимосвязь Шальда противопоставлял «романтическому атомизму» западной литературы.³³

И Масарик, и Шальда подчеркивали, что Достоевский был поэтом-мыслителем, поэтом идей.

³² Šalda F. X. Básník a duše národní // Soubor díla F. X. Šaldy. 17. Kritické projevy 8. 1910—1911. S. 271.

³³ Šalda F. X. Účty z minulosti // Soubor díla F. X. Šaldy. 19. Kritické projevy 10. 1917—1918. Praha, 1957. S. 496. См. подробнее: Kautman F. F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij. S. 15—17.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

Томаш Гарриг Масарик

СОЧИНЕНИЯ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО³⁴

Т. 1. Записки из Мертвого дома

Молодой 28-летний писатель, появление которого приветствовали Некрасов, Белинский и другие, за участие в социалистическом и революционном движении, собственно лишь посредством чтения Фурье и подобных ему общественных реформаторов-революционеров и рассуждения об их идеалах, что в 1849 году допускалось многими, был осужден на смерть порохом и свинцом. Вместе со своими товарищами Федор Михайлович 22 декабря 1849 года стоял на эшафоте: смертный приговор уже был зачитан, все ждали только освобождающего «пли», — в этот миг стоящим на пороге смерти было объявлено, что царь даровал им жизнь...

Достоевский восстал из мертвых. Он заново родился — с места казни его отправили в сибирскую тюрьму. Там в «мертвом доме», среди «несчастных», как русский народ — по своему прекрасному обычаю — называет осужденных преступников, проходило его воспитание для новой жизни. Он научился исследовать внутренний мир — собственный и чужой, познавал, что такое вина и кара; в тюрьме перед ним была вся Россия в миниатюре, в его окружении были мужики, дворяне, купцы, солдаты, чиновники, представители всех классов русского общества. В тюрьме он мог изучать характер всех народов Российской империи — русских, поляков, немцев, татар и прочих; он сталкивался с людьми всех степеней образованности — от самой высокой европейской до самой низкой азиатской; там он мог сравнивать все религии и поверять нравственные мерилы поступками их носителей, мог сопоставлять научные и философские воззрения...

«Мертвый дом» стал для Федора Михайловича психологической лабораторией. Отрезанный от всего мира, вынужденный сосредоточить все свое внимание на себе и окружающих, он стал искать собственную душу в душе других. Ничто не отвлекало его от этого изучения; он видел здесь человеческую душу такой, какой ее со-

³⁴ Первый анонимный перевод этой статьи был опубликован в издававшемся в Праге на русском языке журнале «Центральная Европа» (1931. № 2. С. 69—82). Статья публикуется в переводе О. М. Малевича по тексту: *Masaryk J. I. Studie of F. M. Dostojevském (s rukopisnými poznámkami)*. Praha, 1932. S. 13—30. См. примеч. 19.

творил Бог, во всей ее наготе. Здесь он вынужден был размышлять о судьбах рода человеческого, о том, как сам он и другие оказались изгнанными из дома, о том, почему русское общество их отвергло; наблюдая деятельность русской администрации, он вынужден был размышлять о задачах этой администрации и их исполнении, что привело его к мыслям о предназначении собственного и иных народов, о предназначении человечества... Малый мир людей, осужденных за политические проступки, и настоящих преступников, стерегущих их солдат и управляющих тюрьмой чиновников... этот малый мир в глазах Федора Михайловича разросся и вырос в мир большой, весь «мертвый дом» превратился в дом живой так же, как близкая смерть принесла ему новую жизнь...

И все эти наблюдения, все мысли были самостоятельными, незамутненными чуждой философией; он наблюдал и воспринимал жизнь, а не книги и чужую ученость: только одна книга стала для него источником поучений и возвышенного воодушевления — Евангелие и Ветхий Завет.

*

Более серьезного человека, чем Достоевский, трудно себе представить. И разве может не принимать жизнь по-настоящему тот, кто смотрел в лицо смерти? И кто может быть более серьезен, чем тот, кто столько испытал, кто изучил человеческую душу до самых глубин, кто научился читать в ней самые тайные проблески мыслей и чувств, кто осознал все, что сами мы очень часто боимся осознать?

Тот, кто обрел утерянную жизнь, умеет ценить обретенное. И как ценит Достоевский человеческую жизнь, любую без всякого различия, с какой любовью раскрывает ценность каждой души! Но этот серьезный, смертельно серьезный Достоевский живет охотно и весело; он серьезен, но не пессимистичен, у него есть чувство юмора; пожалуй, громко он не смеется, но часто улыбается, улыбается со слезами на глазах.

*

Достоевский серьезен. Он познал тяготы жизни, ибо познал, что человек от природы зол. Когда читаешь у Канта о радикальном зле в человеческой природе, это не потрясает так, как чтение Достоевского; только в Писании находишь дух, равный ему.

Но Достоевский познал не только зло в человеке, в человеке вообще, он познал собственную слабость, он живо ощутил свою часть всеобщей вины. Ища успокоения своей душе, он находит его в люб-

ви, в безмерной любви к ближнему. В любви он ощущает спасение, любовь для него — покаяние.

Людей должна связывать живая любовь человека к человеку, любящий человек не одинок, одиночество, изолированность индивидуума от индивидуума — источник всех личных и общественных неудач; эта изоляция, этот индивидуализм особенно угрожает современному обществу. Обособление — вот что для Достоевского является *in concreto* прямой противоположностью любви.

*

В нашу эпоху не было и нет лучшего христианина, чем Достоевский. Действенная любовь к ближнему заключается в любви к слабым, бедным, оскорбленным, злым; сильных, богатых, веселых, красивых и добрых любить несложно. С какой любовью показывает нам Достоевский «Бедных людей», «униженных и оскорбленных», «преступников и наказуемых»: и в душе опустившихся наиболее низко он обнаруживает искру человечности и стремится превратить ее в очистительный пламень.

*

Достоевский — реалист. Этим определением сегодня еще мало что сказано. «У идеалиста и реалиста, если только они честны и великодушны, одна и та же сущность — любовь к человечеству и один и тот же объект — человек, только формы представления объекта различные» <23, 70>. Так высказался по этому поводу сам Достоевский в прекрасной статье, где он призывает идеалистов не стыдиться своего идеализма. Тот, кто при слове реализм вспомнит Золя, Бурже, Ибсена и других, не получит о реализме Достоевского никакого понятия. Можете вы себе представить реалиста, который истово верит в Бога и бессмертие? Будете вы считать реалистом того, кто любовь к отчизне основывает на вере в будущую жизнь, кто не принимает без разбора и критики современные идеи, а с любовью отбирает каждое доброе зерно, вызревшее в прошлом? Можно назвать реалистом того, кто правила своей жизни черпает из Евангелия, и реалист ли тот, кто не стыдится всего этого и всю свою жизнь бесстрашно сражается против того, что огромная толпа полуобразованных в лице своего ареопага мудрецов, поэтов и писателей изо дня в день торжественно провозглашает новым евангелием и последним словом просвещения и прогресса?

Не Достоевский определяется реализмом, а реализм — Достоевским.

Общепринятая эстетика лицом к лицу с Достоевским оказывается беспомощной, так же как она беспомощна перед лицом любого великого человека, любого художника-мыслителя. Достоевский — великий мыслитель, Достоевский — великий художник, — как это взаимосвязано? Встреча с Достоевским, так же как встреча с другими великими поэтами и, собственно говоря, со всеми великими душами, производит такое потрясающее впечатление, что меньше обращаешь внимание на формы, в которых тебе явлено это содержание. При чтении Дон Кихота, Гамлета, Фауста, «Дзяд», «Братьев Карамазовых» обращаешь ли ты внимание на форму, только на форму? Возможно, — но твое внимание на нее должен обратить сам Шекспир или Достоевский присущим им великим и неповторимым способом.

Любое, даже самое маленькое произведение Достоевского выражает единый, продуманный взгляд на мир. Так же как у древних греков первые мыслители, не только поэты, но теологи и философы, вплоть до Платона, высказывали народу свою веру и свое учение в поэтической форме, так и у русского народа в этом столетии появляется провозвестник за провозвестником — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. Счастлив народ, чьи идеи величайшие мыслители выражают в поэтических творениях!.. Достоевский, так же как Киреевский, Самарин, писатели светские, для русских, как Гомер для греков, являются одновременно и теологами...

Особую, характерную черту философии Достоевского составляет этический реализм. Все его сочинения устремлены к наивысшим целям, но он нигде не проповедует. Достоевский не жрец; он твердо убежден в своей вере, но не становится фанатиком даже в прямом споре с противниками. Он ко всем терпим, всегда мил и тем не менее неумолимо последователен. Справедливый приговор Достоевского принимаешь безропотно.

Пожалуй, в этом есть что-то типично славянское: даже суждение высочайшего авторитета мы плохо воспринимаем, если оно звучит как нечто внешнее, оно должно быть нами освящено изнутри. Поэтому Достоевский чужд какому-либо категорическому императиву, и все же истинность и святость нравственных принципов никем так живо не ощущается, как Достоевским. Уже Толстой присоединился к проповедникам, — Достоевский объяснит тебе добрые и дурные поступки и выскажет свое мнение, но суд ты произведешь сам собственным чувством и разумом.

Достоевский, как уже было сказано, — подлинный ученик Христа. Он придерживается двух главных его заветов.

Отправная точка философии Достоевского — собственный внутренний мир, его душа; из уверенности в собственном бытии он черпает уверенность в бытии Бога, без воли Провидения он не мог бы понять ход и строй мира внутреннего и внешнего.

Бессмертие придает ценность всей жизни, каждой душе; бессмертие освящает любовь к ближнему, только оно делает ее возможной. Вера в Бога удерживает прочный порядок в жизни личности и общества, она и гражданину раскрывает его цену в сравнении с другими, — только перед Богом и под Богом мы все равны.

Безверие — бунт, для Достоевского — это не проявление титанизма. Кто сверг Бога, тот сам садится на его судейский трон, человек становится богом. Человекобог заявляет, что ему все дозволено, даже кровопролитие. Раскольников в «Преступлении и наказании» проливает кровь, Иван в «Братьях Карамазовых» провозглашает то же. Человекобог присваивает себе право исправлять природу и историю, становится законодателем.

Однако чем кончает этот претендующий на равенство с Богом самозванный законодатель? Убийством и... самоубийством.

Человекобог ощущает себя стоящим выше огромной массы своих ближних, следовательно, стоящим, собственно, надо всеми, поэтому он произвольно экспериментирует с чужой жизнью; если Наполеон уничтожил тысячи и тысячи жизней, почему я, великий Раскольников, человекобог, не могу умертвить эту старушку? Ведь я вижу и понимаю, что ее существование бессмысленно и даже вредно, итак, долой ее! — человекобог становится убийцей.

Человекобог вскоре пресыщается своим превосходством над природой и обществом — равенство с Богом не изменяет ближних, кончается скукой. Мертвая природа лишена ценности, мертвое ну-тро не дает счастья, единственный выход — самоубийство.

Бог, бессмертие, любовь к ближнему или убийство—самоубийство — вот жизненная проблема Достоевского. Эта проблема решается во всех его сочинениях. О любви к ближнему позитивно и лучше всего говорится в «Идиоте», о праве на убийство мы читаем в «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых»; самоубийство является предметом философских размышлений в «Идиоте» (Ипполит), в «Бесах» (Кириллов), в «Братьях Карамазовых» (Иван), в статье «Приговор» и т. д.

*

Собственный внутренний мир — если воспользоваться одним, хотя и многозначным словом — вот, по сути дела, единственный предмет философии Достоевского. Человеческую душу и ее деятельность Достоевский анализирует до мельчайших и тончайших деталей, никакое чувство, никакая мысль не остаются для него тайной. Достоевский — это живая совесть. Вот почему его романы можно назвать психологическими. Тем самым мы говорим: древний эпос с наивной непосредственностью изображал деяния, деяния внешние и прежде всего богатырские подвиги, военные предприятия; Достоевский — эпик чувств и мыслей, его романы с аналитическим мастерством изображают деяния внутренние, философию современного человека. «Братья Карамазовы» — эпос XIX столетия.

*

Достоевский во всем духовен, ему не свойственна чувственность. Он не удовлетворяется поверхностью вещей, а проникает взглядом во внутрь всего. Он видит все изнутри, в то время как другие судят обо всем с внешней стороны.

С этим связан его особый взгляд на отношение обоих полов, на любовь и женщину.

Женщина у Достоевского равноправна не в результате каких-то политических соображений, а потому, что половые отношения он воспринимает абсолютно естественно и чисто. В этом Достоевский лишь отражает особенность русского народа; в одной из своих статей он показывает, что русский простой люд целомудрен. Не вызывает сомнения, что, так же как Достоевский, и другие великие русские писатели — Толстой, Гончаров — в этом отличаются от французских и немецких писателей. Тут с русскими, скорее, могут равняться англичане.

Чистота и целомудрие — это не ложная стыдливость и даже не сентиментально-романтическое ханжество. Достоевский рисует нам проститутку и полусвет, но его Соня или Грушенька — не Нана; кто прочтет в «Братьях Карамазовых» смелую сцену в главе «Бред» и сравнит с этим то, что говорит в «Преступлении и наказании» о своей сестре Раскольников, услышав, что она выходит без любви за Лужина, тот поймет, почему Достоевский, размышляя о подлинной жизни, не мог не коснуться испорченной половой практики. Он это делает как мужчина. В его сочинениях не найдешь той чувственной слабости, которая является следствием преждевременного полового бессилия, того вялого — позволю себе сказать — подражания кроликам, которое — даже при покаянии — ищет алтарь с образами ти-

циановских Магдалин. Соня чище разных «идеалов», воспеваемых современными поэтами дамских будуаров, — из книг Достоевского поймешь, что чистота — это не только чистота тела, но прежде всего чистота души.

Для Достоевского не только любовь, но главным образом супружество, супружеская любовь — этическая и социальная проблема. Он отличает флирт от любви. И в этом он опережает великое множество поэтов-предшественников. Достоевский проявляет большую зрелость.

*

Достоевский — поэт XIX столетия; он понял свое столетие и указывает путь к будущему.

Из только что изложенных взглядов Достоевского можно вполне последовательно вывести его философию истории. В «Братьях Карамазовых» в великолепном полотне «Великого инквизитора» Иван скептически анализирует историческое развитие человечества.

Слабого человека всегда мучили и будут мучить три вещи: слабый человек нуждается в ком-то, перед кем он мог бы очистить свою совесть, в своей слабости он хочет кому-то поклоняться и опять же из слабости стремится объединиться с максимальным числом себе подобных. Загадка общественной мудрости в том, как избежать этого тройного мучения.

Христос завещал человеку только свободу: с голыми руками он шел в народ, уповая на торжество правды Божьей, на торжество свободы. Поэтому он не внял искусителю, предлагавшему ему средства, с помощью которых он мог бы овладеть народами. Он не хотел чудодейственно превратить камни в хлебы, хотя знал, что снискал бы этим любовь народных масс, ибо сказано, что не хлебом единым жив человек.³⁵ Отказался он совершить и другое чудо, которого домогался от него искуситель, хотя знал, что этим мог бы подчинить себе толпы. И не принял от злого духа власть над миром, не захотел силой удерживать народ в рамках порядка. Чудо, тайна и авторитет, несомненно, единственные три силы на земле, с помощью которых можно завладеть сознанием всех «слабосильных» бунтарей, единственно эти три силы способны обеспечить слабости человеческое счастье — но счастье, построенное механически, счастье внешнее, а не внутреннее, вытекающее из полной свободы совести, подчиненное только Всевышнему.

³⁵ Символ «камни и хлебы», нередко встречающийся в творчестве Достоевского, восходит к евангельскому рассказу об искушении Христа дьяволом в пустыне (Мф. 4: 3—4; Лк. 4: 3—4).

Слабое и бунтующее человечество стремится к внешнему счастью. Рим основал на этом стремлении свое мировое господство; пришел Христос и дал пример подлинного счастья; некоторое время христиане следовали его примеру, но вскоре вернулись к римскому образцу, католицизм обновил мировое господство. Подобно школяру, против католицизма восстал протестантизм, восстает против него наука, также провозглашающая свободу, но уже социализм обновляет претензии на мировое господство, обещает превратить камни в хлебы, он — враг католицизма — наследует его устремления, которые неосознанно выразили Тамерлан, Чингисхан и другие завоеватели, — массы хотят объединиться в мировом масштабе.

Таким образом, история — это процесс борьбы между верой и неверием; неверие пытается дать людям счастье внешними средствами, чудом, тайной и авторитетом, вера ищет и находит счастье в свободе совести. Только вера совместима со свободой, неверие превращает свободу в анархию и бунт, в конечном счете впадая в пессимизм, единственным выходом из которого является самоубийство. И к такому концу приходит нынешнее столетие: воспитанное философией бунта и отрицания, оно завершается пессимизмом и эпидемией самоубийств...

Единственный выход из этого царства тьмы — жизнь в согласии с чистым и неискаженным учением Христа, которое каждый может найти в Евангелии; Достоевский видит такое учение в православной церкви, в той мере, в какой она сохранила верность евангельским заветам.

*

Достоевский хорошо понял нашу переходную эпоху, понял, как Реформацией и Ренессансом, а вслед за ними наукой была разрушена вера христианских народов и как поныне, хотя и в разных формах, ведется борьба между этими двумя мировоззрениями; меньшая часть сражающихся способна подняться над борющимися сторонами и примирить требования прошлого и настоящего в гармоническом целом, у подавляющего же большинства эта борьба внесла разлад в сердце и в голову. Этот разлад — болезнь нашего века, в особенности же это болезнь России, в которой противоречие между старым и новым мировоззрением ощущается еще острее.

Этому разладу, приводящему к безнадежности и тупости, Достоевский противопоставляет светлые образы примиренной целостности. Эту болезнь XIX века, эту своеобразную беспочвенность, которая, согласно «Отцам и детям» Тургенева, ничего не признает, ничего не уважает и ко всему относится критически, этот приземленный либерализм — нигилизм Достоевский почти ненавидит. В противовес нравственному и телесному омертвлению Достоевский

разливает «реки воды живой»;³⁶ личности и народы удерживаются одной единственной силой — это сила непрерывного и постоянного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Каждый в своей области должен трудиться в интересах целого, работать и жить радостно, не отвергая любые сомнения, но оставаясь достаточно сильным, чтобы достичь мыслью гармонии сердца и головы.

Это и есть поиски Бога. «Добудьте Бога трудом» — велит Ставрогину Шатов («Бесы»).

*

Достоевский не подпал под влияние руссоизма. Он не обожествляет слепо старый миропорядок, удовлетворен новым, хотя постоянно обращает свой взор к лучшему будущему. Он верит в прогресс постепенный и ненасильственный. Он чужд всякой сентиментальности и пустой романтике, это реалист труда. Новое поколение он побуждает к труду, к труду неустанному и не знающему усталости. Прошло время богатырей, теперь богатырь — это неутомимый работник. Достоевский понял, что именно русские, как и остальные славяне, до сих пор слишком полагались на временные проявления героизма и энтузиазма. Представитель молодого поколения, «честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с неприменным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью», к сожалению, не понимает, «что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая из всех жертв во множестве таких случаев и что пожертвовать, например, из своей кипучей юности пять-шесть лет на трудное, тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы удесятить свои силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить, — такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам...» <14, 25>.

В этих словах скрыта сущность реалистической этики, этики систематического, непрерывного труда, не ожидающего исправления и спасения и чудес богоподобных богатырей, — уже не происходит таких чудес и уже вымерли богатыри.

*

Исходя из этого убеждения, Достоевский как писатель не чувствовал себя работы, так сказать, будничной. В своих романах он не по-

³⁶ Ин. 7 : 38.

гружается по старинке в видения того чистого искусства, которое на практике обычно ограничивается пристрастием к приятному общению в великолепных салонах, его занимают вопросы повседневной журналистики. Журнализм — новая, соответствующая потребностям новой эпохи форма писательского труда. Достоевский не был бы реалистом, если бы этого не понял. Он писал о текущих событиях в разных газетах и журналах. Позднее издавал собственный ежемесячник «Дневник писателя» — собственный в буквальном смысле слова, потому что он целиком писал его сам: человек, столь страстно стремившийся к цельному и гармоническому мировоззрению, не мог найти лучший способ, как создать образец философской, истинной, нравственной журналистики.

*

Достоевский не избегает практических вопросов, но решает их на широкой основе своей этики и философии. Будучи лишен всякой «прямолинейности» — так он называет кажущуюся последовательность большинства образованных людей, проистекающую на самом деле из незнания жизни и ее полноты, — в каждом общественном явлении он умеет постичь не только дурную, но и хорошую сторону.

Нами уже упоминалось, что любовь к отчизне он основывает на вере в бессмертие, — к этой идее последовательно сводятся все устремления Достоевского. Будучи свободен от какого бы то ни было узкого национализма, противоречащего главному этическому правилу — любви к ближнему, он живо ощущает себя русским и принимает участие во всех проявлениях национальной жизни. Вот почему в мировой литературе мало таких статей, как его разбор последней части «Анны Карениной»; он выступил против Толстого, по достоинству не оценившего и не понявшего движения русского народа, направленного на освобождение южнославянских христиан.

*

У Достоевского много общего со славянофилами, но он не похож на рядовых славянофилов 70—80-х годов. С Киреевским Достоевский согласился бы, но это не значит, что он славянофил в духе бессмысленной и пустой болтовни политических резонеров, которые в конечном счете видят спасение России, славянства исключительно в некой мировой империи, основанной и удерживаемой властью и силой и только властью и силой...

По мнению Достоевского, русский народ призван осуществить более высокую, духовную миссию на пользу всему человечеству.

«...Великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединении всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации» <25, 195—196>.

Такова суть убеждений и веры Достоевского, касающихся всемирной миссии русского народа.

Миссия эта — Достоевский объясняет ее в своей знаменитой речи о Пушкине — вытекает не из географического месторасположения и других физических особенностей русского народа, хотя последние и могут ей служить, а из его духовного характера. И характер этот заключается в том, что русский человек способен полностью вжиться, проникнуть в дух других народов; это способность — истинно русская, национальная. Это свойство чисто нравственное: русская душа, душа народа русского, более всех других народов подготовлена к тому, чтобы воспринять идею всечеловеческого объединения, братской любви, трезвый взгляд на мир, прощающий враждебное, различающий и оправдывающий несхожее, снимающий противоречия. Русский по своей природе, а отнюдь не в результате воздействия культуры и внешних обстоятельств, к примеру экономических, является всечеловеком; поскольку сам он лучше других умеет вжиться в дух прочих народов, он лучше всех может и духовно их объединить.

Идея всечеловека служит для Достоевского ключом к истинному истолкованию многих тайн русской истории. Пушкин, отец современной русской литературы, объяснил русским это их существенное национальное свойство. Особенно это важно для понимания реформы Петра и ее значения. Русские совершенно органично, а вовсе не из-под палки, как утверждают славянофилы, восприняли европейскую цивилизацию, потому что имели для этого естественные предпосылки и были готовы сделать первый, еще не осознанный шаг на пути ко всемирному объединению арийского племени.

*

Достоевский не останавливается на таком философском истолковании хода мировой истории: прочную основу своей философии он находит в изучении своего народа.

Достоевский постоянно пытается понять Россию, русский народ. Любя свой народ, он не стыдится показывать ему его собственное

лицо, не боится изобразить свойственную ему «карамазовщину». И если вы хотите убедиться в том, с какой любовью Достоевский и в дурных свойствах своего народа открывает добрые черты, прочтите, например, в «Дневнике писателя», что он сумел извлечь из анализа стихотворения Некрасова «Влас»! Совершенно русский Достоевский и в том, как его любовь к народу постоянно проявляется в познании собственных ошибок и в способности прощать; ведь именно такое познание ведет к исправлению.

Вот почему Достоевский любит свой русский народ, своего русского мужика, сохранившего гармонический христианский взгляд на мир и неутомимым трудом практически доказывающего, что он верит в Бога.

Поэтому же он призывает интеллигентов-либералов учиться у мужика. Но Достоевский не исповедует полное возвращение к мужицкой, деревенской жизни, не исповедует полное «опрощение», а с любовью старается отыскать в народном быте прекрасное и доброе. Если Толстой больше селянин, Достоевский — горожанин. Достоевский преодолевает противоположность города и деревни, ведь конкретно тут та же цель, что и примирение старого и нового мировоззрений. Великолепный пример того, как прекрасно и умело черпает Достоевский жизненную мудрость из народного познания и философии, — «Братья Карамазовы», в особенности вся книга о «русском иноке» и прелестная легенда о «луковке».

*

С такой же любовью, с какой Достоевский живет народными чувствами и взглядами, изучает он и внутренний мир ребенка. Мало кто постиг детскую душу лучше, чем Достоевский; Достоевский в этом не уступает Диккенсу; человек слабый, человек изуродованный физически и нравственно, простой люд, женщина, ребенок — вот герои Достоевского. И как они могут не быть героями писателя, который пытается осмыслить самые основы современного общества и думать о «зlobe дня»?! В этой неподдельной симпатии к детским мыслям проявляются нежность и ласковость, столь характерные для Федора Михайловича.

*

Достоевский — великий поэт. Он не только мыслитель. «Братья Карамазовы» — в нашем распоряжении только первый том — самое великое произведение во всей мировой литературе, более значительного художественного произведения никогда не было создано. Разумеется, как уже было сказано, эпичность Достоевского

следует искать не в описании великих исторических событий, событий внешних, как это было еще у Толстого, но в описании и воспроизведении великих событий внутреннего мира, мира чувств и мыслей.

С этой точки зрения мы поймем и величие других произведений Достоевского. После «Братьев Карамазовых», вероятно, самое значительное из них — «Идиот»; известный у нас роман «Преступление и наказание» далеко уступает им обоим по гармоничности и проработанности. Из крупных вещей менее всего отвечают художественным требованиям «Бесы»; не потому, что этот роман тенденциозен, а потому, что для конструирования нигилистических происков поэту недоставало конкретных знаний. Кроме того, в «Бесах» Достоевский то тут, то там проповедует.

Но велики не только большие повести и романы Достоевского; многие его не столь крупные и совсем маленькие произведения не менее совершенны. Прочтите, например, рассказ «Скверный анекдот» или «Крокодила» — какой юмор, какая сатира!

И какие естественные формы находит Достоевский для своих мыслей. Железнодорожная поездка служит ему рамкой и импульсом для развертывания определенного идейного комплекса; в «Записках из Мертвого дома» из, казалось бы, разрозненных зарисовок возникает единое большое культурно-философское полотно; «Бедные люди» — роман в письмах и т. д.

При всем этом Достоевский самостоятелен и последователен. Сравните, например, как в «Братьях Карамазовых» он представил нам то, что обрабатывали Гете в «Фаусте», Байрон в «Манфреде», Мицкевич в «Дзядзах»: сколь самобытен и не похож на других русский Фауст Иван и его Мефистофель! Фауст Гете — романтик, Иван — реалист; поэтому он и с психологической точки зрения гораздо более определен и ясен; соответственно и Мефистофель Ивана — обычный «черт», а не Мефистофель, что также отвечает этическим воззрениям Достоевского. И это не олицетворенный черт, а только кошмар, преследующий возбужденного Ивана, — особенное искусство Достоевского заключается в умении наглядно и прямо пластически изобразить собственный внутренний мир и совесть, не прибегая к их олицетворению. (В «Идиоте», «Двойнике», в «Братьях Карамазовых» — глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»).

*

Поэзия-философия Достоевского вызывает у нас и также будет вызывать много упреков. Насколько я могу судить, главный источник этих упреков — активное нежелание большинства людей наблюдать собственный внутренний мир; и это нежелание естественно — уже

Кант сказал, что от неустанного самонаблюдения человек способен сойти с ума. Возможно, Достоевский слишком субъективен, в большей мере, чем остальные люди, он видит мир не извне, а изнутри. Совсем не таков Толстой, он объективен; поэтому многим людям Толстой в отличие от Достоевского представляется светлым; между тем как последний будто бы мрачен. Что-то в этом есть: Достоевский весьма субъективен, и это правда, что его преимущественно интересуют характеры не вполне нормальные. Не знаю, связано ли это с тем, что он сам страдал падучей; несомненно, собственный жизненный опыт сталкивал его с более темными местами в человеческой душе — мне кажется, что он настолько нормален, насколько должен быть нормален чувствующий и думающий человек XIX столетия и в особенности славянин, русский.

Часто упрек в излишней субъективности заслуживает не что иное, как способность Достоевского анализировать некоторые доселе не познанные стороны человеческой души более тщательно, чем это было до сих пор принято; возьмите для примера психологический разбор в «Вечном муже», тезис, что можно любить из ненависти и что такая любовь может быть очень сильной, — и достаточно опытный человек при первом чтении будет поражен. И все же Достоевский, как почти всегда, прав.

Делаются упреки и содержательной стороне его идей. Например, <Г.> Успенский видит в русском всечеловеке Достоевского лишь великое противоречие — за этим понятием, дескать, скрывается чрезмерная слабость и расплывчатость. В такой форме этот упрек несправедлив. Впрочем, не вызывает сомнения, что в противовес этому и другим взглядам Достоевского можно многое сказать. Так, например, его русский «всечеловек» сконструирован чисто психологически; однако уже сейчас спорят и будут спорить о том, на основе какого содержания, какого мировоззрения объединится человечество. Допустим, что русский понимает все народы лучше представителей других национальностей; но какова его философия? Достаточно ее для духовного объединения? И если Достоевский упрекает католицизм за попытку всемирного объединения — разве нет у католицизма никаких нравственных побуждений, только жажда власти? И русские действительно стремятся исключительно к духовному объединению? и т. д.

Почти само собой разумеется, что либералы, т. е. те, кто полагает, будто свобода мышления находится в их исключительном распоряжении, упрекают Достоевского в реакционности. Бог ты мой, как просвещенный человек, реалист в эпоху существования железных дорог и, главное, распространяемых по всему свету — конечно же, по всему свету — ежедневных газет может испытывать сильнейшую потребность в религии? А с другой стороны, консерваторы тоже недовольны Достоевским, ибо его старец Зосима не правове-

рен, не верит в вечную геенну огненную. И объясняет этот и другие постулаты Писания не дословно, а... мистически. Итак, перед вами мистик, — но может ли быть мистиком научно и философски образованный человек нашего столетия?..

*

Я неохотно уже сейчас взялся писать о Достоевском, откладывая более обширную статью, задуманную как часть «Славянских исследований».³⁷ Но меня многократно и настойчиво просили, чтобы я все-таки написал что-то в качестве ключа к выходящему как раз переводу сочинений Достоевского. Только поэтому я наспех набросал несколько мыслей о Достоевском; в наших условиях — не только литературных — полное издание сочинений Достоевского я считаю делом чрезвычайно важным.

Пожалуй, мне следовало бы сказать несколько слов о том, как сам Достоевский исторически развивался. А он развивался, подобно тому как развивался Киреевский, с которым у него так много общего и как у писателя, и как у человека. О Киреевском я уже говорил в другом месте. У нас, на Западе, даже не подозревают, как в этом столетии, начиная с Пушкина, работал русский мозг и какие великие идеи выработал, как глубоко их прочувствовал. Для великих русских писателей характерно, что все они в своей философии проникнуты этическими и социальными устремлениями, — это объясняется развитием России и Европы. Русские мыслители освоили философию Европы и поэтому развивают ее. В живом бурлении мысли — от философии Белинского, Герцена, Чаадаева и других так называемых западников до направления национального и славянофильского, проявившегося в последних работах Пушкина, в Гоголе, Киреевском, Хомякове и других, Достоевский, наиболее близкий Киреевскому, ищет то примирение и объединение взглядов на высшем уровне, в котором он видит задачу своего народа. И надо признать, что он сделал большой шаг к этому, уже сейчас становясь учителем не только русских, но и всего образованного мира. Идеями, а не насилием, как провозглашал сам Достоевский, человечество объединится для своего истинного счастья.³⁸

³⁷ См.: *Masaryk T. G.* 1) *Slovanské studie. Slavjanofilství Ivana Vasiljevě Kiriějevského.* Praha, 1889; 2) *Slovanské studie. Jana Kollára slovanská vzájemnost // Naše doba.* 1894. R. I. № 7—12.

³⁸ Далее Масарик приводит краткий список использованной им литературы о Достоевском, который мы опускаем.

II

Франтишек Ксавер Шальда

ТВОРЧЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ³⁹

Положение Достоевского в современной европейской литературной ситуации весьма парадоксально; его много читают, и он имеет на Западе большое влияние — там он вытеснил Тургенева и Толстого, и волна восхищения им все еще поднимается, но в России его затмил Толстой, популярность и влияние Достоевского здесь значительно меньше, чем на Западе. Нынешняя революционная Россия не в нем, а в Толстом распознает своего духовного отца, и в России приносят плоды предостережения Горького, который еще до войны очень решительно выступил против него как против типичной для русской души опасности. Россия видит в нем необузданную истерию, никак не нужную для целей рационального насаждения цивилизованности и рационального конструирования, которыми в гигантских масштабах здесь в разных сферах занимается государство. На Западе же все, что обращено к подсознанию, все, что отклоняется от рациональности и логики, все, что ищет новую иррациональную диалектику души, будь то имморализм Жида или фантастичность сюрреализма и психоанализа, носит следы его влияния и живет под его знаменем. Таким образом, на Западе он союзник всего, что выходит за старые рамки классицизма и что стучится в дверь будущего в форме нового романтизма или нового дионисийства; всего, что хочет спустить с цепей демонов и швырнуть их как бешеный пенящийся шквал на штурм купола пантеона; всего, что в гиперболическом полете хочет коснуться бесконечности.

Но понимает ли его Запад *на самом деле*? Не принимает ли он лишь его исходные позиции и предпосылки и не уклоняется ли от его выводов; не берет ли Запад лишь его отрицание, не понимая того, что он утверждает? Только сбрасывание всяких пут вместо принятия новых, более высоких ограничений? Вот вопрос, над которым стоит задуматься.

Еще живы свидетели, которые могли бы рассказать, в какой растерянности стояли первые западные критики, Вогиюэ и Эннекен, перед творчеством Достоевского, будучи неспособными сказать о нем ничего подлинно значительного и существенного. Мне всегда каза-

³⁹ Впервые опубликовано: *Šalda F. X. Dilo Dostojevského a jeho položení evropské // Šaldův zápisník. 1930—1931. R. 3. S. 329—343.* На русский язык переводится впервые. Перевод О. М. Малевича выполнен по изданию: *Šalda F. X. O prědpokladech tvorby. Praha, 1978. S. 313—321.*

лось, что у этих утонченных представителей Запада мороз пробегал по коже, как у Наполеона, когда он видел поджигающих Москву русских. «Какие страшные люди! Какие скифы!» И главные герои Достоевского должны были производить на западных критиков подобное впечатление, напоминая им безумцев, зажигающих крышу над своей головой, участников оргиастических вакханалий, которые в экстазе ранят и уродуют себя, чтобы в муках почувствовать приближение своего бога... Надо признать: Жид, Цвейг, Нётцель понимают Достоевского значительно лучше — лучше всех, пожалуй, Жид, который проник в него по аналогии из глубин своей мутной, ненасытной и взбудораженной души. Но поняли они его на самом деле хорошо? Вникли в святая святых его творчества и услышали в самом деле глухой голос Бога Достоевского? Не увязли они в своих формулах, не переливают на берегу ракушкой море? Не хотят ли приручить неукротимых? Не пытаются ли связать и спутать бурю, которая как раз в этот момент обручается с океаном? Не проявляются ли все еще в их суждениях предрассудки классицизма — геометрического или личностного, классицизма Декарта или Гете?

Персонажи Достоевского созданы совершенно иным методом, чем персонажи мастеров западного романа. Они целиком изнутри, из жизненной жажды, из огромного напряжения и размаха души. У других мастеров, у Бальзака, у Флобера, у Диккенса, постоянно чувствуешь, что их описывают извне, что они возникли в результате понятийной работы из внешних впечатлений, путем флюктуации и классификации внешнего мира. Бальзак или Флобер возьмут нормального человека, доведут до крайности одну из его черт, например, чувственность, жадность, честолюбие и создадут тип, все еще близкий к аллегории. Это скорее психологические схемы, оживленные логические скелеты, чем тот темный и бездонный смерч, каким является каждый из нас, живущих на свете людей. Пожалуй, только с персонажами Стендаля у персонажей Достоевского есть какое-то родство, заключающееся в том, что и те и другие таят в душе мечту, которую берегут как зеницу ока, которая им дороже самой жизни, но в остальном заметно большое различие между мастерами западными и мастером восточным. Фигуры Достоевского — сам огонь, струящийся, бесформенный и многоликий, и, как он, они окутаны дымом. Достоевский сам предупреждал: «О, не верьте в единство человека»⁴⁰ — и этим сам обозначил принципиальное различие между логической единой перспективой западной беллетристики и хаотической полицентричностью своих персонажей. Поскольку эти персонажи по сути своей непластичны, их судьба непредсказуема и сами они непредсказуе-

⁴⁰ Очевидно, цитата не точна. У Достоевского речь идет о раздвоенности современного человека, утрате им цельности.

мы. О них нельзя с уверенностью сказать, злы они или добры. Они биполярны, как биполярен весь нравственный космос Достоевского. У него есть ангельские персонажи, умеющие мучить, есть злодеи, умеющие быть нежными, как девушки в расцвете первой любви, и трудно решить, кто у него страдает больше — святые и невинные или грешники и исчадия ада.

Но всем им свойственна одна черта — безумная жажда жизни, глубокая погруженность в жизнь, экстаз, доходящий до самоуничтожения. Это не личности, не характеры, не типы, это носители элементарной силы, взрывы человеческого нутра, губящие других и себя и все же несущие в глубинном своем ядре тоску по искуплению. Уже Пушкин угадывал в русском человеке эту жадную ненасытность, безбрежность, эту жажду жизни; но олицетворением этой догадки, ее поэтическим воплощением стали персонажи Достоевского. В их душе словно бы совмещено много душ, словно бы это был хаос, из которого только завтра разгорится свет, если только они не погрузятся во тьму еще большего отчаяния. Так или иначе: это всегда рождающиеся миры. Эти люди в самом деле хотят исчерпать жизнь до последней капли, они реальнее самой явленной нам реальности. И мысль у них — это страсть, пожирающая тело и подрывающая здоровье. И в мысли они, как сказано о сладострастной семье Карамазовых, «хищники чувственности»,⁴¹ наделенные жизненной страстью, доходящей до «неприличного фанатизма».⁴² Их жизненность неутомима. Даже на дыбе они способны петь хвалу жизни, и все творческое наследие Достоевского есть, собственно, не умолкающий гимн жизни во всех ее подобиях, в самых низменных и самых высоких, в совершенно мимолетных и будничных и в духовно возвышенных и вечных.

Люди Достоевского пылают изнутри; и пожирающий их жар остынет только с их смертью. Все эти люди отчаянно влюблены в жизнь, прежде всего в жизнь временную. В жизнь в обычном смысле слова: дышать, есть, пить, чувствовать, развратничать, властвовать, мучить себя и других; и рядом с этой всепожирающей лихорадкой для них ничто все моральные и общественные понятия: понятия чести, долга, гордости. Недаром Митя Карамазов хочет петь свой гимн жизни и в тюрьме. Достоевский с иной стороны приблизился к тому и предвосхитил то, что Ницше понял как самодостаточность жизни и абсолютность земного существования. Гениальность Достоевского я вижу именно в том, как он раскалил и расплавил все абстрактные идеологические понятия, которые

⁴¹ Очевидно, речь идет о «сладострастниках».

⁴² Очевидно, имеются в виду некоторые суждения Ивана Карамазова о при-
сутствующей ему (да и всему семейству Карамазовых) «исступленной и неприличной,
может быть, жажде жизни» (14, 209).

до сих пор волочили за собой беллетристика и драматургия, все, что составляло понятийный и идейный скелет персонажей западных мастеров. Каждый человеческий червь у Достоевского всеми своими челюстями, щупальцами и створками уцепился за жизнь и одобряет ее всем чувственным голодом своих желаний и инстинктов. Возвышенные стихи Ницше: «...doch alle Lust will Ewigkeit — will tiefe, tiefe Ewigkeit»⁴³ воплощены здесь так, что это заставляет тебя содрогнуться. Вечность хотят для своего наслаждения и своей порочности не только разные там Свидригайловы и Ставрогины, эти князья преступлений, которые кончаются самоубийством, собственно, вследствие познания, что они невозможны в вечности, неприемлемы для нее и исключены из нее, но и такие нищие пьяницы и сладострастники, как Мармеладов. И вина Раскольников не в избытке жизни, не в избытке витальности, которая толкает его на преступление, а, наоборот, в холодном поверхностном догматизме, побуждающем и заставляющем его совершать то, что не соответствует его подспудному, глубинному «я»: характерно, что, по словам Достоевского, убийца совершил свое преступление, «как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой <...> Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать» <6, 58>. Только будьте спокойны: не кто иной, как Достоевский, наверняка бы сумел написать гимн *подлинной воле* к власти, воплощенной в *цельном* человеке, таком, например, как Наполеон.

Все люди Достоевского в этом смысле ненасытны, это богохульники, не признающие дисциплины и порядка, алчущие наслаждения и муки, ибо они не различают их с помощью критического разума, и то и другое, наслаждение и мука, в них взаимопроникают до неразделимости. У него есть персонажи, испытывающие наслаждение от ударов, и есть такие, которые воспринимают как боль и оскорбление всякую попытку их погладить. Почему это происходит? Потому что они не знают себя. Здесь ключ ко всему таинственному поэтическому существу Достоевского. Его люди — это не дающие себе во всем отчет люди Запада, это люди, опоенные жизнью, страстно живущие, пожираемые жаром жизни, и познания они достигают только самой жизнью и переживанием. Сперва они наслаждаются жизнью, но, наслаждаясь жизнью, они доживают и до чего-то такого, что становится их завоеванием и служит жизненным искуплением. И совершается это по той же внутренней таинственной и болезненной логике, по какой дерево доживает до созревания плода. В романах-поэмах Достоевского человек доживает до собственного «я»,

⁴³ «...Все же всякая радость хочет глубокой, глубокой вечности» (нем.). Nietzsche F. Alle Lust will Ewigkeit // Nietzsche F. Also sprach Zarathustra (1883—1891). Leipzig, 1927. S. 359.

до своих глубочайших сущностных основ. Происходит это гениальным способом, постепенным отбрасыванием всего поверхностного, проникновением ко все большей наготе. Люди Достоевского постепенно сбрасывают с себя все одежды, все общественные условности, все понятия нравственные, правовые, гражданские и наконец собственную кожу: окровавленные и растерзанные, они стоят перед нами нагие в самом глубоком смысле. Кровавым путем, мучая себя и других, люди Достоевского как бы гонятся за собственным внутренним «я»; они не заинтересованы, безличны в самом высоком смысле слова; они целиком служат инструментами какого-то бога, который должен из них родиться.

Искренность и правдивость до сих пор никогда не доводились до такой степени интенсивности. У личностей Достоевского нет стыда; они обнажаются перед нами, копаются перед нами в своих внутренностях, они выносят перед нами из низов, из самых глубинных слоев своего существа нечто такое, что мы и они видим впервые и что удивляет в одинаковой мере их и нас. С детским изумлением, с вытаращенными глазами взирают они на это. Это, разумеется, не было бы возможно, если бы у них не было глубинного сознания, что они марионетки в руках некоей трансцендентной силы, что настоящий актер не они, а тот, кто соткал всю эту таинственную драму. Отсюда и эта странная беззаботность, и провидческий дар главных фигур Достоевского.

Все они обладают чувством некоей особой жизненной безопасности, некоей уверенности в себе. Словно они знают, что с ними не может случиться ничего заслуживающего внимания; что в высшем смысле они воплощают эксперимент или какую-то творческую мечту Бога. В этом мире поступки совершенно экстравагантные производят впечатление абсолютной естественности и правдивости, и если есть что-либо фантастическое и неправдоподобное, так это лишь люди осторожные, трезвые и хитрые, думающие о своей материальной пользе и надеющиеся застраховаться от козней и опасностей жизни; такие вот расчетливые Лужины и Ракитины, подлецы в легальной форме, и есть главные и истинные страшилища мира Достоевского, существа абсурдные и непонятные.

Ибо не будем себя обманывать: мир Достоевского полон чудес и в конечном счете пронизан сверхчеловеческой, прямо-таки божественной радостью. Он весь устремлен к рождению, к тому безумному конечному крику радости от искупления, в который должны низвергнуться и в котором должны утонуть все жизненные диссонансы, как об этом где-то говорит сам Достоевский. И сквозь самый густой дым пекла, в котором корчатся проклятые, проникает неземное сияние искупления и озаряет его своими отблесками. Рождение нового человека из человека старого, сотворение человека искупленного — вот баховская fuga поэзии Достоевского. В эпило-

ге «Преступления и наказания» Соня и Раскольников — такие вновь рожденные люди: «Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь» <6, 421>. И в «Братьях Карамазовых» Митя в тюрьме — такой Лазарь, восстающий из гроба:⁴⁴ «Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, — не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек!» <15, 30—31>.

Достоевский — величайший эротический поэт, какого я только знаю, — я подчеркиваю слово *эротический*, не сексуальный, хотя, разумеется, и сексуальность играет в его творчестве большую роль. Но секс у Достоевского всегда на службе эроса, который опять-таки служит у него средством душевного самопознания в самом высоком смысле слова. Новое у Достоевского именно в том, что эрос становится самым точным инструментом самоанализа. Достоевский вообще — преимущественно поэт самоанализа, и этот самоанализ, разумеется, не лишен жестокости: а как же иначе! — ведь и анализ, который проводится на чужом теле, болезнен! Говорят, что сексуальность Достоевского жестока, что ему свойственно садистическое отношение к главным персонажам, — но это лишь более низкая и неясная половина правды. По правде же персонажи Достоевского эротической жизнью достигают самого глубокого самопознания и последней истины, которая находится на дне каждой человеческой души, скрываемая нами от самих себя ложью или замалчиваемая, — Бога. И выражением этого страшного, таинственного, мучительного и в высшей степени мужественного процесса служит распространенная психоаналитическая фраза о садизме Достоевского. Достоевский знает о чувственности вещи, которых не знают даже самые страшные развратники, и знает о духовной любви вещи, которых до сих пор не поведали даже «ангельские доктора».⁴⁵

Последняя и самая высокая его тайна заключена в том, что посредством земной любви человек приобретает к любви Божьей, к

⁴⁴ Речь идет о евангельском рассказе о воскрешении Христом «четверодневного Лазаря» (Ин. 11: 1—45), символизировавшем для Достоевского возможность духовного возрождения и преображения человека. О роли этого евангельского текста в идейно-художественной структуре романа «Преступление и наказание» см.: *Тихомиров Б. Н.* «Лазарь! Гряди вон». СПб., 2005.

⁴⁵ Подразумеваются психоаналитики. Титул «ангельский доктор» (*doctor angelicus*) в Средневековье относился к Фоме Аквинату, в XX в. его применяли к З. Фрейдю.

милости в полном и собственном смысле слова. Милость Божья чаще всего отыскивает у Достоевского грешника не потому, что он много грешил, но потому что много страдал и способен на величайшее покаяние, — в этом Достоевский — поэт по сути своей христианский. Красота у Достоевского имеет таинственное значение и смысл, это основополагающий критерий, которым пользуется его, если ее хотите так назвать, иррационалистическая поэзия. Достоевский обладал смелостью понять и сказать, что и в Содоме, и в аду, так же как и в раю, есть своя красота. «Красота — загадка» <8, 66> провозглашает он в «Идиоте»; а в другом месте высказывает убеждение, что «красота спасет мир» <8, 317, 436>. Это означает, что красота — сила непостижимая и ни от чего не зависящая, само жгучее ядро жизни истинно живой, т. е. нелогичной и непредсказуемой. Это нечто вне будничного, обыденного распорядка жизни, а следовательно, — это чудо и милость в собственном смысле слова. В красоте, как он ее понимает, сливается вся биполярность жизни; на этом поле Бог и дьявол ведут самую страшную борьбу за человека. Достоевский также обладает смелостью познать и высказать, что в красоте заключены самые сильные соблазны демонизма и бунта против Бога; что красота может быть орудием самого страшного мятежа. «С этакой красотой можно мир перевернуть!» <8, 69> — говорится о дурманящей красоте и демоническом влиянии Грушеньки.⁴⁶ Гениальным поэтическим зрением Достоевский постиг, что и красота тоскует по искуплению, что и красота со стенами просит об освобождении из своего саганинского плена и что это освобождение может быть только любовью. Чистым, неэгоистичным состраданием и сочувствием по подсказке гениальной поэтической интуиции Достоевского молодые люди, князь Мышкин и Алеша, приручают Настасью и Грушеньку, эти две элементарные женские прасущности, раненные демонизмом своих соблазнов. То, что на Западе смутно обозначили Вагнер и Виньи, Новалис и Шелли, здесь додумано — досотворено в кристальной ясности и чистоте. И все это совершается у него чистой поэтической магией без вспомогательных стремянок какой бы то ни было понятийной диалектики, чистым созерцанием, в фантазии сердца.

Никто не был поэтом в большей мере, чем Достоевский. Как поэт он ищет и находит истинную уверенность в себе, т. е. нечто совершенно непосредственное, во что душа может бросить свой якорь. В сущности своей он абсолютно *антифилософичен*, он враг понятий и диалектической игры ими, ее холодности и схожести с игрой тенями, он антифилософичен, потому что любит полноту и горячность жизни, а философию воспринимает как извлечение из

⁴⁶ Ф. К. Шальда допускает здесь ошибку: слова эти относятся в романе «Идиот» к Настасье Филипповне.

нее математических корней. Достоевский протестовал, когда его называли «психологом», — и это вполне обоснованно, поскольку от слова «психология» несет проблематичностью, разнобразием суждений, гипотетичностью. Он не хотел иллюстрировать и объяснять свои фигуры с помощью психологии, он хотел их воплотить; и он действительно воплотил их магией своей поэтической воли вне всякой психологической правдоподобности, а часто и в прямом противоречии с нею. Он хотел быть и был, как он говорил, «реалистом», что необходимо перевести: поэт реальности все более реальной и в конце концов реальности самой реальной, Бога. У него есть высказывание удивительной глубины и прозорливости: «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее» <14, 210>. Поиски и нахождение смысла жизни — это Толстой, брюзгливый и желчный романист-философ, размышления которого вылились в самоубийство Анны Карениной, жестокое, как случайность, низкое, как измена. Рядом с ним Достоевский выглядит человеком, экстатически влюбленным в жизнь, эта таинственная любовь тем более таинственна и страстна, чем более жестока к нему жизнь, чем упорнее она его от себя отталкивает. Почему? Потому что он ощущает в ней единственную надежную истину, которая ведет его к истине последней, Богу. Бог Достоевского — это Бог жизни, что с такой последовательностью не было усвоено ни одним другим поэтом.

Едиственный путь к Богу — это жизнь; и только в этой жизни заключается спасение при условии, что мы ее покорно и правдиво принимаем. Это единственное истинное достояние человека на земле. Революционер, равно как мученик, олицетворяют в глазах Достоевского романтический пафос и романтическую фразу, это претенциозное, самовлюбленное искажение жизни, чучело жизни, которое он отвергает. Жизнь в самых своих простых формах, простое жизненное существование — для Достоевского уже чудо, и целый ряд его главных героев раздражаются ликующими тирадами, восхваляя ее. Его люди целуют землю, хотя знают, что она «пропитана» слезами «от коры до центра» <14, 222>, нет, они целуют ее *потому*, что это знают. Все его произведения — это школа, в которой преподается возвышенная наука, как любить жизнь несмотря на все и вопреки всему. «Нет более несправимого несчастья, чем быть мертвым», — признается нигилист Иван Карамазов, и тот же атеист в наплыве светлой радости восклицает: «Люблю тебя, Боже, ибо жизнь велика».⁴⁷ Растратив жизнь попусту в нелепом сумасбродстве и праздных забавах, умирающее старое дитя Степан Трофимович стенает и бормочет: «О, я бы очень желал опять жить! <...> Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством чело-

⁴⁷ См. примеч. 42.

веку...» <10, 506>. И в трудную минуту, перед припадком падучей в окрыленной образности сердца из опаленных губ князя Мышкина вырывается песнь веры в жизнь: «... я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! <...> а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными?» <8, 459>. И старец Зосима учит: «Кто проклинает Бога и жизнь, проклинает сам себя. Будешь любить каждую вещь, явится тебе таинство Божье во всех вещах и в конце концов охватишь весь мир всеобъемлющей любовью».⁴⁸ И другие несчастные и обездоленные, изуродованные и исковерканные жизнью люди исповедуют то же, что утверждал брошенный в тюрьму Митя: «... я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я емь! <...> В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть» <15, 31>.

Достоевский нисколько не субъективист, в нем нет ни грана произвола, ни капли фантастичности — и именно в этом главное заблуждение Запада. Западное искусство берет от него сейчас лишь негативную сторону, его горячечные сны и inferнальные видения, забывая, что это подсознательное у Достоевского подчинено *надсознательному*, что этот взвихренный хаос спутан великими аксиомами, с которыми он соотносится как нечто параллельное и зависимое. Герои Достоевского в своем судорожном и текучем беспокойстве отражают надличностные ценности, предчувствуют и угадывают их и продираются к ним по самой тернистой стезе, продымленной огнем всех чистилищ. Достоевский в своей сущности — такой же объективист и такой же реалист, как Флобер, но только еще более строгий. Персонажи Флобера в течение жизни сдергивают с нее и рассеивают покров иллюзий, пробиваясь к действительности, которая у этого западного атеиста и материалиста чаще всего имеет совершенно отрицательный характер — равняется смерти. Люди Достоевского тоже отбрасывают иллюзию за иллюзией, как поношенное и обветшалое платье, но не всегда кончают безумием или смертью. Действительность в высшем смысле слова для него не смерть, а Бог. Аналитический процесс у Достоевского ведет к этому последнему положительному началу, которое скрепляет взволнованное море человеческих страстей и инстинктов. Именно так, как об этом сказал Гете: «Und alles Drängen, alles Ringen ist ewige Ruh in Gott dem Herrn».⁴⁹

⁴⁸ Неточная цитата; ср.: 14, 289.

⁴⁹ «И все стремления, все усилия находят вечное успокоение в Господе Боге» (нем.). *Goethe J. W. Wenn im Unendliche dasselbe... Die Sammlung von 1827.*

Надсознание — конструктивный фактор, совершенно отчетливо выраженный у Достоевского. Живые идеи, которые Достоевский противопоставлял мертвящим, застывшим, «чугунным» понятиям западной университетской философии, пронизывают у него всю человеческую жизнь и придают ей освящение свыше. Такие живые идеи для Достоевского — Бог, Христос и непосредственно «русский Христос», русская церковь, представлявшаяся ему прямой противоположностью развращенной, обмирщенной католической церкви и стремившаяся уподобить себе и русское государство. Сейчас мы прекрасно понимаем, сколь необходимы для его творчества эти идеи: они были нужны уже хотя бы с художественной и композиционной точки зрения, способствуя тому, чтобы весь этот взвихренный взбесившийся мир безумных человеческих страстей не утонул в пучинах бесформенности, не растворился в царстве теней и небытия. Но для самого Достоевского эти идеи отнюдь не мотивированны художественно, а суть последние постулаты и истины, к которым он пробивался всю жизнь, с которыми жил и умер. Точно так же его отрицание революции, его проклятия ей как последнему источнику дьявольского обмана, с помощью которого враг рода человеческого хочет завести нас в царство низменного материализма и мертвящего механицизма, вполне последовательно вытекают из его понимания человека и его земного удела. Тут Достоевский не шел ни на какие уступки; и действительно, какие бы то ни было компромиссы здесь невозможны. Достоевский — радикальный националист на теократической основе: это замók его мировоззренческого свода. И это пункт, в котором с ним расходится и должна расходиться революционная Россия. Хотя, с другой стороны, в Достоевском совершенно явно заметны многие антиромантические, более того — антиэстетические, антитрадиционные черты. Разве самая страшная фигура Достоевского — Ставрогин не трактуется как типичный преступник, ставший таковым в результате сибаритства и эстетства? И разве его сибаритство не следствие принадлежности к господской касте, живущей за счет крепостных? Разве он чуть ли не осужден на преступность своим господским происхождением? Разве не обращается к нему Шатов с советом: «Добудьте Бога *трудом*»? Разве не является Достоевский в конечном счете самым беспощадным критиком старой крепостнической Руси, базирующейся на жизни нереальной, на иллюзиях, миражах и обманах?

Но Запад ошибается, не понимая поэтического иррационализма Достоевского и толкуя его как отрицание любого порядка; Запад тут выдает предпосылки за выводы, средства — за цель.

Zahne Xenien VI. Xenie 26 // Goethe J. W. Sämtliche Werke, Briefe, Tagesbücher und Gespräche. 1987. Bd 2. S. 680.

Достоевский — это отнюдь не только судорожная пантомима инстинктов, не только Виттова пляска нервных рефлексов, не только пары и туманы сновидений; главное в нем — ослепительное сияние небесного света, рожденного надеждами сердца удивительно живого, неугасимо пламенеющего даже на льдах человеческого эгоизма и ненависти. Образность этого сердца могла ошибаться и, несомненно, ошибалась в мире абстракций и политики, но была безошибочна там, где творила судьбы других человеческих сердец. И эти судьбы она создавала по законам правдивости, лежащей за пределами рационализма, иррационализма и других подобных категорий, ибо эта правдивость принадлежит к более высокой сфере познания, чем они.